

ИСТИНА КАК КРИТЕРИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА В КРИТИКО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ СТИЛЕ 20-ых-40-ых гг. XIX ВЕКА

Клаудия Ласорса Съедина

- Есть ли у вас хорошие книги?
 - Нет, но у нас есть великие писатели.
 - Так, по крайней мере, у вас есть словесность?
 - Напротив, у нас есть только книжная торговля.
- Барон Брамбеус (Белинский, *Литературные мечтания*)

В истории русского языка и литературы 20-40-ые годы XIX века отмечены брожением и смешением разных языковых стилей, и соответствующей перестройкой систем книжного и разговорного языка. Стародворянские, “светские” стили русской языковой культуры теряют господствующее положение, поэтический язык стандартизуется, стихи уступают свою руководящую роль прозаическим жанрам. Европейизмы распространяются в массы, идет национализация и демократизация языка литературы на социально-диалектальной базе разночинной интеллигенции.¹

¹ Специфика выдвижения нового социального состава писателей-литераторов тонко отражается в критике, публицистике и письмах Пушкина. В частности, ратуя в первую очередь за личное достоинство писателя, Пушкин пишет в 1830 г.: “В одной газете официально сказано было, что я мещанин во дворянстве. Справедливее было бы сказать дворянин во мещанстве” (Пушкин 1949-1958: VII, 194. Дальше все цитаты в тексте, если нет другого указания, относятся к этому изданию). Не без горечи поэт неоднократно возвращается к этой теме: “...смеяться над сословием потому только, что оно такое-то сословие, а не другое, нехорошо и не позволительно. И на кого журналисты наши нападают? Ведь не на новое дворянство, получившее свое начало при Петре I и императорах и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую и могущественную аристократию, pas si bête. Наши журналисты перед этим дворянством вежливы до край-

В процессе пробуждения национального и общественного самосознания, и, в частности, становления критико-публицистического стиля, Европа, европейское просвещение, европейская образованность составляют полюс сравнения, точку отсчета и систему ценностей русской национальной самобытности. Европа становится мерой специфичности русского исторического и культурного пути, “истины”, “истинности” русского языка и литературы.²

Пушкин, Гоголь, Белинский — чьи критико-литературные выступления являются объектом наших предварительных наблюдений — стремятся определить своеобразие начала и развития русской литературы: от искусственной пересадки через подражание к самораскрытию и соперничеству с Европой.³

Пушкин, Гоголь и Белинский — каждый своим творческим путем — углубляют понимание действительности, выявляя в слове его предметную-бытовую основу, осложняют представление о внутреннем мире личности.⁴ Борясь с фразой, с

ности. Они нападают именно на старинное дворянство, кое ныне, по причине раздробленных имений, составляет у нас род среднего состояния, состояния почтенного, трудолюбивого и просвещенного, состоянию, коему принадлежит и большая часть наших литераторов. Издеваться над ним (и еще в официальной газете) нехорошо — и даже неблагоприятно” (VII, 207-208).

² Сложной проблематике “истина–правда” и их взаимоотношению в русском языке посвящено большое число работ. Напомним лишь некоторые из них, к библиографии которых ссылаем читателя: Степанов 1972: 165-175; Арутюнова 1991: 21-30; Арутюнова 1992: 20-30; Лукин 1993: 34-48; Uspenskij 1993: 227-229.

³ Подверглись анализу самые значительные, по нашему мнению, с точки зрения публицистического стиля, критические выступления А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя; что касается В. Г. Белинского, подверглись анализу следующие статьи: *Литературные мечтания; [Общее значение слова литература]; Речь о критике*. Размер данной статьи не позволяет воссоздать подробную и полную картину журнальной критики тех лет, в которой выделяются, в частности, выступления П. А. Вяземского, ярко раскрывшего значение Пушкина для русской литературы и, вообще, органическую связь литературы и общества.

⁴ О потенциях словарного запаса отдельного человека и всего языка в

ложно-величавой романтической фразеологией (*jargon de la ribeupé*),⁵ они отстаивают реалистическую трезвость, простоту, точность и понятность русской литературной прозаической речи.

2. Уже в 1822 г., в черновом наброске статьи *О прозе*, молодой Пушкин осуждает детскую русскую прозу, любящую напыщенность, застывшие перифразы как замена точных обозначений и далекую от “благородной простоты”:

Читаю отчет какого-нибудь любителя театра: сия юная питомица Талии и Мельпомены, щедро одаренная Апол... боже мой, да поставь: эта молодая хорошая актриса – и продолжай – будь уверен, что никто не заметит твоих выражений, никто спасибо не скажет. [...] Точность и краткость – вот первые достоинства прозы. Она требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ни к чему не служат (VII, 15-16).⁶

В 1825 г. в статье *О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И.А. Крылова* Пушкин отстаивает культурные потребности русской нации:

Приводя в пример судьбу сего прозаического языка (т. е. французского, К.Л.С.) г. Лемонте утверждает, что и наш язык не столько от своих поэтов, сколько от прозаиков, должен ожидать европейской своей общежительности. Русский переводчик оскорбился сим выражением, замечает поэт; но если в подлиннике сказано *civilisation Européenne*,⁷ то сочинитель чуть

целом (концептосфера языка как концептосфера национальной культуры) см. Лихачев 1993.

⁵ Выражение А. И. Герцена в книге *Былое и думы* (цитата взята из Виноградова 1938: 316).

⁶ Пушкин настолько отчетливо осознавал незрелость литературного вкуса своих соотечественников, что о своей трагедии *Борис Годунов* так писал А. А. Бестужеву 30 ноября 1825 г.: “Я написал трагедию и ею очень доволен; но странно в свет выдать – робкий вкус наш не стерпит истинного романтизма” (X, 192).

⁷ В оригинале написано “*sociabilité européenne*”. В подтверждение своего взгляда о том, что “*on peut poser comme une règle que les qualités qui rendent une langue poétique ne sont nullement celles qui la rendent communicative*”, Лемонте приводит в пример ничтожество современной ему французской поэзии, ибо, по его мнению, механизм французского языка более приспособлен к

ли не прав. Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени образованности: просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения, но ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует (VII, 30-31).⁸

В недописанной статье *Опровержения на критики* (1830) о

человеческому общению, нежели к поэтическому вымыслу. Французский критик заключает: "Si j'en crois cet exemple, c'est donc moins de ses poètes que de ses prosateurs que la langue russe doit attendre son perfectionnement, et, s'il est permis de le dire, sa sociabilité européenne" (*Fables russes de M. Kryloff, publiées par M. le Comte Orloff, t. 1, Paris 1825, XIV-XV*). Об издании басен Крылова графом Орловым см. Maver Lo Gatto 1966: 157-241.

⁸ В письме к Вяземскому ("европейские статьи" которого высоко ценил) от 13 июля 1825 г. Пушкин пишет: "Сейчас прочел твои замечания на замечания Дениса (Давыдова, К.Л.С.) на замечания Наполеона – чудо-хорошо! твой слог, живой и оригинальный, тут еще живее и оригинальнее. Ты хорошо сделал, что заступился явно за галлицизмы. Когда-нибудь должно же вслух сказать, что русский метафизический язык находится у нас еще в диком состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образоваться наподобие французского (ясного точного языка прозы, т. е. языка мыслей). Об этом есть у меня строфы три и в *Онегине*" [гл. III, стр. XXVI-XXIX, К.Л.С.] (X, 153). В "тяжеловесности" русской прозы Пушкин усматривает следы влияния Ломоносова. Читаем в статье *Путешествие из Москвы в Петербург* (1833-34): "Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он (Ломоносов, К.Л.С.) свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полу-славенская, полу-латинская, сделалась было необходимостью: к счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова. [...] Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности – вот следы, оставленные Ломоносовым [VII, 277-278]. [...] Давно ли стали мы писать языком общепонятным? Убедились ли мы, что славенский язык не есть язык русский и что мы не можем смешивать их своенравно, что если многие слова, многие обороты счастливо могут быть заимствованы из церковных книг, то из сего еще не следует, чтобы мы могли писать *да лобжет мя лобзанием* вместо *целуй меня* etc. Знаю, что Ломоносов того не думал и что он предлагал изучение славенского языка, как необходимое средство к основательному знанию языка русского. [...] Но тем не менее должно укорить Ломоносова в заблуждениях бездарных его последователей" (VII, 638).

своем отношении к критическим разборам своих сочинений, Пушкин пишет: “К несчастью заметал я, что по большей части мы друг друга не понимали”, и приводит пример одного критика, человека впрочем доброго и благонамеренного, который, разбирая кажется *Полтаву* “уверял, что таковые стихи сами себя *дурно рекомендуют*”:⁹ “Критики наши говорят обыкновенно: это хорошо, потому что прекрасно, а это дурно, потому что скверно. Отселе их никак не выманишь” (VII, 167, 168). По этому же поводу он писал также:

Слова *усы, визжать, вставай, рассветает, ого, пора* казались критикам *низкими, бурлацкими*; но никогда не пожертвую искренностию и точностию выражения провинциальной чопорности и боязни казаться простонародным, славянофилом и тому под. (Пушкин 1937-1949: XI, 159).

Еще один пример огромного расстояния, отделяющего автора “романа в стихах”, быстро шагнувшего вперед к реализму, от ребяческой, сбивчивой современной ему критики. Это заметка 1829 г.:

Литература у нас существует, но критики еще нет. У нас журналисты бранятся именем *романтик*, как старушки бранят повес франмасонами и вольтерянцами — не имея понятия ни о Вольтере, ни о франмасонстве (VII, 519).

Пушкина подхватывает Гоголь, свидетель коммерческого успеха у новых неискушенных читателей журнальной деятельности Греча, Сенковского, Булгарина.

Журнальная критика по большей части была каким-то гаерством. [...] Это книга, — говорили рецензенты, — удивительная, необыкновенная, неслыханная, гениальная, первая на Руси, продается по пятнадцати рублей; автор выше Вальтер Скотта, Гумбольдта, Гете, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте в библиотеку вашу; также и второе издание купите и поставьте в библиотеку: хорошего не мешает иметь и по два экземпляра (Гоголь 1959:105).

⁹ Пушкин ошибся, считая, что это сказано в отзыве на *Полтаву*. Текст рецензии на седьмую главу *Евгения Онегина*, напечатанной в “Галатее” 1830 г., № 14, автором которой был С. Раич, звучал так: “Стихи, которые сами себя рекомендуют с невыгодной стороны” (VII, 684).

Блеснуть новизной и любезностью, щеголять скептицизмом, заставить читателя рассмеяться: вот, по мнению Гоголя, основа критики по расчету, торговой, черты которой пренебрежение к собственному мнению, литературное безверие и невежество, отсутствие эстетического вкуса, мелочность в мыслях. А между тем, заключает писатель,

критика, основанная на глубоком вкусе и уме [...] имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. [...] Для истории литературы она неоценима. Наша словесность молода [...] но для критика мыслящего она представляет целое поле, работу на целые годы. Писатели наши отлились совершенно в особенную форму и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражания, они заключают в себе чисто русские элементы; и подражание наше носит совершенно северообразный характер, представляет явление, замечательное даже для европейской литературы (Гоголь 1959:108).

Со своей стороны, Белинский так характеризует современную ему журнальную критику:

Теперь [...] величаются гг. Брамбеусы, Булгарины, Гречи, Каланшиковы¹⁰ по пословице: на безлюдье и Фома дворянин [...] Последние размениваются комплиментами, называют друг друга гениями и кричат во всеуслышание, чтобы поскорее раскупали их книги. Мы всегда были слишком неумеренны в раздаче лавровых венков гения [...] это наш давнишний порок (Белинский 1959: 36, 37).

Характеризуя восторженные, но непрочные попытки при Александре I создать русский язык и литературу, критик замечает:

Не спрашивали: что и как нам должно было делать? Говорили: делайте так, как делают иностранцы, и вы будете хорошо делать. Удивительно ли [...] что мы, еще не имея никакой литературы, в полном смысле сего слова, уже успели быть и классиками, и романтиками, и греками, и римлянами, и французами и итальянцами, и немцами и англичанами?... (Белинский 1959: 68)

¹⁰ Калашников Иван Тимофеевич, 1797-1855. Чиновник, мелкий писатель, этнограф, автор романов *Дочь купца Жолобова* и *Камчадалка*.

3. Главной причиной, замедлившей ход русской словесности Пушкин считает общее употребление французского языка и пренебрежение русским. Отсюда “манерность, робость, бледность” (VII, 532). Русские привыкли мыслить на чужом языке; и, заключает поэт, “леность наша охотнее выражается на языке чужом” (VII, 18). Русские писатели жалуются на это, но они сами в этом виноваты.

Некоторые пишут в русском роде, из них один Крылов, коего слог русский.¹¹ [...] Не решу, какой словесности (т. е. французской или русской, К.Л.С.) отдать предпочтение, но есть у нас свой язык; смелее! — обычаи, история, песни, сказки и проч. (VII, 533).

Идея сближения, вернее синтеза, двух языковых стихий, разговорной (или простонародной) и книжной, стала для Пушкина основным принципом развития русского языка: народность языка, простота и точность выражения, чувство “соразмерности и сообразности” в литературной практике. Таким образом Пушкин превращает стилистические проблемы в вопросы поэтики: у него разнородные стилистические элементы “славяно-русского языка” в каждом отдельном тексте фокусируются в определенной перспективе.

К восстановлению русского языка в своем достоинстве, в своей верности русской действительности, стремился и Гоголь. Гоголевский словарь, через свежее столкновение раз-

¹¹ В отличие от Жуковского и Вяземского, Пушкин, как свидетельствуют его письма, высоко ценил народность Крылова. В письме к Вяземскому от 7 ноября 1825 г., например, читаем: “Ты уморительно критикуешь Крылова; молчи, то знаю я сама да эта крыса мне кума (“Молчи, то знаю...”, из басни Крылова *Совет мышей*, К.Л.С.). Я назвал его представителем духа русского народа – не ручаюсь, чтоб он отчасти не вонял. – В старину наш народ назывался смерд (см. господина Карамзина). Дело в том, что Крылов преоригинальная туша, граф Орлов дурак (Г. В. Орлов, издал вышеназванные французский и итальянский переводы басен Крылова с предисловием Лемонте, К.Л.С.), а мы разини и пр. и пр...” (X, 189). Впрочем, за простонародный слог, противопоставленный языку условленному, избранному, Пушкин ратует уже в 1823 г. в письме к Вяземскому от 1-8 декабря: “Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали” (X, 76).

ных языковых систем, т. е. салонно-дворянский жаргон (бескровный “птичий язык”), канцелярно-чиновничий, купеческий, книжные и церковно-богословные слова, иронически обличает несоответствие условной семантики общественно-делового языка истинной природе вещей. Гоголь раздвигает границы литературного текста, шире и глубже Пушкина проникает в толщу русской народно-разговорной речи, придает литературному языку яркий национально-реалистический колорит.

Белинский от романтически-возвыщенного стиля первых критических статей переходит в 40-ые годы к более ясным и простым языковым формам. Прием речевого контраста широко введенных им отвлеченных слов общественно-политического и научно-философского содержания в перемешку с разговорно-просторечными словами, критик создает форму беседы, живого разговора с читателем, широко представленную уже в *Литературных мечтаниях*, типа:

Что, не верите? [...] Ну, бог с вами: божиться не стану. [...] А впрочем, что же я расторгнулся с вами? Нет – прошу не погневаться: рады или не рады, а прочесть должны: зачем же грамоте учились? Итак, благословясь, к делу! (Белинский 1959: 41).

4. Нашими критиками в эти годы выдвигается новый лексико-семантический ряд, который мы назвали бы “нравственным”, характерным для прогрессивной “дружины ученых и писателей”. Прослеживается — мы сказали бы бросается в глаза — частое употребление таких слов и словосочетаний, как уже названная *истина, любовь к истине, истинный, беспристрастие, честь, личная честь, достоинство, уважение, добросовестность, убеждение, работа, труд*, и т. д. Чувство национальной гордости и самостоятельности, ответственность критика-литератора, “гордое терпение”, мужественный оптимизм, независимость суждений, сознание необходимости долгой упорной работы и гласности литературно-общественных прений отражены в этих словах Пушкина:

[...] дружина ученых и писателей, какого б рода они ни были, всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех приступах образованности. Не должно им малодушно негодовать на

то, что вечно им определено выносить первые выстрелы и все невзгоды, все опасности (VII, 198).

Более того: Пушкин утверждает пользу и ругателей и клеветников в образовании общественного мнения:

Нападения на писателя и оправдания, коим подают они повод, суть важный шаг к гласности прений так называемых общественных лиц (*hommes publics*), к одному из главнейших условий высоко образованных обществ. В сем отношении и писатели, справедливо заслуживающие презрение наше, ругатели и клеветники, приносят истинную пользу: мало-помалу образуется и уважение к личной чести гражданина и возрастает могущество общественного мнения, на котором в просвещенном обществе основана чистота его нравов (VII, 197-198).¹²

¹² Что стоило Пушкину идти своей дорогой, сознавая, с одной стороны специфические, отличные от "европейских" условия, в которых творил русский писатель, и, с другой стороны, неотложную потребность сплотить лучшие писательские силы с целью создания общественного мнения в России, явствует из следующих отрывков, взятых в основном из его писем. Не имея здесь возможности детально прокомментировать их в контексте, мы ограничиваемся цитированием их в хронологическом порядке, как своего рода дневниковую запись идейных позиций и настроений Пушкина. Интереснейшая это наука, живая картина литературных нравов, общественного быта, журнальной полемики, размежевания литературных сил России тех лет. "Слёнин (книгопродавец, К.Л.С.) предлагает мне за *Онегина* сколько я хочу. Какова Русь, да она в самом деле в Европе – а я думал, что это ошибка географов" (Вяземскому, начало апреля 1824 г. - X, 86). "Критики у нас, чувашей, не существует, палки как-то неприличны. [...] То, что ты говоришь насчет журнала, давно уже бродит у меня в голове [...] Нынешняя наша словесность есть и должна быть благородно-независима. Мы одни должны взяться за дело и соединиться. Но беда! мы все лентяй на лентяе – материалы есть, материалисты есть, но *où est le cul de plombe qui poussera ça?* [...] Еще беда: мы все прокляты и рассеяны по лицу земли – между нами сношения затруднительны, нет единокордия; золотое *кстати* поминутно от нас выскользает. Первое дело: должно приструнить все журналы и держать их в *решпекте* – ничего легче б не было, если б мы были вместе и печатали бы завтра, что решили бы за ужином вчера; а теперь сообщай из Москвы в Одессу замечания на какую-нибудь глупость Булгарина, отсылай его к Бирюкову в Петербург и печатай потом через два месяца в *revue de bévues*. Нет, душа моя [...] отложим попечение, далеко кулику до Петрова дня – а еще

Любовь и деятельный интерес Пушкина к своему языку, честное к нему отношение отражаются и в семантике критико-публицистических выступлений. Они логически стройные и разнообразные, и несут в себе высокое эмоциональное на-

дале бабушке до Юрьева дня” (Вяземскому, от 7 июня 1824 г., X, 90). “Пора бы нам отослать и Булгарина, и “Благонамеренного”, и Полевого, друга нашего. Теперь не до того, а ей-богу когда-нибудь примусь за журнал. [...] Читал я в газетах, что Lancelot (Ж.-А. Ансело, К.Л.С.) в Петербурге, черт ли в нем? читал я также, что 30 словесников давали ему обед. Кто эти бессмертные? Считаю по пальцам и не досчитаюсь. Когда приедешь в Петербург, овладей этим Lancelot (которого я ни стишка не помню) и не пускай его по кабакам отечественной словесности. Мы в сношениях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда. [...] Русский барин кричит: мальчик! забавляй Гекторку (датского кобеля). Мы хохочем и переводим эти барские слова любопытному путешественнику. Все это попадает в его журнал и печатается в Европе – это мерзко. Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство. Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? если царь даст мне *свободу* то я месяца не останусь. [...] В 4-ой песне *Онегина* я изображал свою жизнь; когда-нибудь прочтешь его и спросишь с милою улыбкою: где ж мой поэт? в нем дарование приметно – услышишь, милая, в ответ: он удрал в Париж и никогда в проклятую Русь не воротится – ай-да умница” (Вяземскому, от 27 мая 1826 г., X, 207-208). “Едете ли Вы на совещание к Гречу? Если да, то отправимся вместе; одному ехать страшно: пожалуй, побьют” (В. Ф. Одоевский, от 15-16 марта 1834 г.). “Дело идет о Конверсационе Лексиконе (Энциклопедический Лексикон Плюшара, К.Л.С.): я это пронюхал. Соглашаюсь с Вашим сиятельством, что нынешний вечер имеет свою гадкую и любопытную сторону. Я буду у Греча, ибо на то получил разрешение от Плетнева, который есть воплощенная совесть. Поедем; что за беда? Ведь это будет мирская сходка всей республики. Всего насмотримся и наслышимся. А в воровскую шайку не вступим” (Ему же, от 16 марта 1834 г., X, 466). “Вообще пишу много про себя, а печатаю поневоле и единственно для денег. [...] Было время, литература была благородное, аристократическое поприще. Ныне это вшивый рынок. Быть так” (М. П. Погодину, около 7 апреля 1834 г., X, 470). “Денежные мои обстоятельства плохи – я принужден был приняться за журнал (имеется в виду “Современник”, К.Л.С.). Не ведаю, как еще пойдет. Смирдин уже предлагает мне 15.000, чтоб я от своего предприятия отступился и стал бы снова сотрудником его “Библиотеки”. Но хотя это было бы и выгодно, но не могу на то согласиться” (П. В. Нащокину, от 10-ых чисел января 1836 г., X, 560).

пряжение.¹³ Например, комментируя уже упомянутое суждение Лемонте о ничтожестве современного французского поэтического языка, поэт заключает:

Строгий и справедливый приговор французскому языку дает честь беспристрастию автора. Истинное просвещение беспристрастно (VII, 30).

Историю государства российского Карамзина Пушкин определяет не только созданием великого писателя, но и *подвигом честного человека* (курсив мой, К.Л.С.): в то время как, рецензируя первый том *Истории русского народа* Полевого, осуждая темноту и слабость его слога,¹⁴ критик зая-

¹³ Стремление к максимальному сгущению информации, к логической прозрачности и грамматической компактности – отличительная черта пушкинского критико-публицистического стиля. Как правило, глагол у него центр фразы, от которого зависят все члены предложения; существительное обычно определяется одним только прилагательным эпитетом; в синтаксисе преобладает сочинение и присоединительные конструкции с союзами *и, а, но*. Взаимодействие: мысль – языковые средства выражения постоянно раскрывается Пушкиным в своей редакторской работе. Для частичной иллюстрации приведем некоторые его заметки на полях статьи П. А. Вяземского *О жизни и сочинениях В. А. Озерова* (не ранее 1825 г.), а также некоторые его поправки на полях *Воспоминаний П. В. Нащокина* (1836). “Эти 6 страницы ныне, кажется, лишние. Можно из них будет выбрать некоторые мысли и поместить далее”; “Переход несчастливый да и не нужный”; “Любовь к друзьям – по-русски дружба” [...] “Все это сбивчиво [...] Более методы, ясности”; “Да говори просто – Ты довольно умен для этого”; оборот Вяземского “и совсем поглотила бы его (Сумарокова, К.Л.С.) бездна забвения” Пушкин исправляет так: “И совсем его забыли (проще и лучше)”; “Хорошо, смело”; “Противуположности характеров вовсе не искусство – но пошлая пружина французских трагедий”. Заметки заканчиваются общим заключением Пушкина: “Часть критическая вообще слаба, слишком слаба. Слог имеет твои недостатки, не имея твоих достоинств” (VII, 547-562). В тексте *Воспоминаний* Нащокина критик переставляет обстоятельства, а иногда и целые фразы с тем, чтобы придать изложению логическое течение и хронологическую последовательность. Пушкин решительно сокращает текст, убирая избыточные предложения, типа: “об отце доскажу после”; модернизирует лексику: “взопревши от беготни” становится “вспотев от бегания”; “от появления моего на здешний белый свет” становится “от появления моего на свет”, и т. д. (VII, 602-610).

¹⁴ Невозможно обойти молчанием соотношенность качеств Полевого как

вляет, что произведение написано с удивительной опрометчивостью и безоговорочно заключает:

Невозможно отвергать у г-на Полевого ни остроумия, ни воображения, ни способности живо чувствовать; но искусство писать до такой степени чуждо ему, что в его сочинении картины, мысли, слова, все обезображено, перепутано и затемнено (VII, 142).

Объявляя выход в свет долгожданного перевода *Илиады* Н. Гнедичем, Пушкин активизирует регистр архаизирующего торжественного слога. Трехчленным параллелизмом с анафорой он подчеркивает значение этого события для русской литературы:

Когда писатели, избалованные минутными успехами, большею частью устремились на блестящие безделки; когда талант чуждается труда, а мода пренебрегает образцами величавой древности, когда поэзия не есть благоговейное служение, но токмо легкомысленное занятие, — с чувством глубоким уважения и благодарности взираем на поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни исключительному труду, бескорыстными вдохновениям, и совершению единого, высокого подвига. Русская Илиада перед нами. Приступаем к ее изучению, дабы со временем отдать отчет нашим читателям о книге, долженствующей иметь столь важное влияние на отечественную словесность (VII, 97-98).¹⁵

писателя и Полевого как человека в суждениях Пушкина. О намерении соединиться с Полевым как возможным издателем журнала, высказанном Вяземским, так поэт отзывается в письме от 9 ноября 1826 г.: “Это черная работа журнала (т. е. переводить, выписывать, объявлять и т. д., К.Л.С.); вот зачем и издатель существует; но он должен: 1) знать грамматику русскую; 2) писать со смыслом, т.е. согласовать существительное с прилагательными и связывать их глаголом. А этого-то Полевой и не умеет” (X, 216). В 1836 г. в заметках на полях письма Вяземского к С. С. Уварову, по поводу сопоставления на одном уровне Карамзина и Полевого, выдвинутого Н. Г. Устряловым, Пушкин пишет: “О Полевом не худо было напомнить и иностраннее. Не должно забыть, что он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и безо всякой совести...” (VII, 601).

¹⁵ Эта заметка глубоко растрогала Гнедича. В письме к нему от 6 января

Приведем еще один пример построения пушкинского острого и ясного стиля рассуждения составленный, как правило, из следующих четких звеньев: изложение фактов; сообщение своего мнения; объяснение его с последующим его доказательством; обобщающее заключение.

Многие негодуют на журнальную критику за дурной ее тон, незнание приличия и тому подобное: неудовольствие их несправедливо. Ученый человек, занятый своим делом, погруженный в свои размышления, не имеет времени являться в общество и приобретать навык к суетной образованности, подобно праздному жителю большого света. Мы должны быть снисходительны к его простодушной грубости, залогу *добросовестности и любви к истине* (курсив мой, К.Л.С.). Педантизм имеет свою хорошую сторону. Он только тогда смешон и отвратителен, когда мелкомыслие и невежество выражаются его языком (VII, 518).¹⁶

1830 г. поэт добавлял: “Незнание греческого языка мешает мне приступить к полному разбору *Илиады* вашей. Он не нужен для вашей славы, но был бы нужен для России” (X, 265). Замечательно в своем обращении к широкому читателю стремление Пушкина-издателя “Литературной Газеты” определить цену и место перевода в отечественной литературе, что, между прочим, еще не принято было в других странах. Так он писал в 1833 г.: “В других землях писатели пишут или для толпы или для малого числа” (критиков-литераторов - К.Л.С.), и уточнял в примечании: “Сии, с любовью изучив новое творение, изрекают ему суд, и таким образом творение, не подлежащее суду публики, получает в ее мнении цену и место, ему принадлежащее”. Хотя горестно заключал: “У нас последнее невозможно, должно писать для самого себя” (VII, 522). С одинаковых позиций высказывал свое мнение о переводе Гнедича Белинский в 1839 г.: “Его труд великий подвиг, делающий честь целой нации” (Белинский 1977: 495).

¹⁶ В письме от 16 июня 1835 к В. А. Дурову, по поводу *Записок* Н. А. Дуровой, кавалерист-девицы, Пушкин дает автору следующий совет: “Что касается до слога, то чем он проще, тем будет лучше. Главное: истина, искренность. Предмет сам по себе так занимателен, что никаких украшений не требует. Они даже повредили бы ему” (X, 537). Положительно рецензируя в 1836 г. *Словарь о святых, прославленных в российской церкви и о некоторых подвижниках благочестия местно-чтимых*, Пушкин особенно отмечал, на фоне опрометчивых и скороспелых произведений, наводняющих в те годы книжные лавки, “отчетливость предварительных разысканий и полноту в совершении предпринятого труда” (курсив мой, К.Л.С.), нера-

В своей статье *Несколько слов о Пушкине, Гоголь*, объясняя, почему масса публики разочаровалась, когда поэт перешел от волшебного изображения Кавказа к более спокойному и гораздо менее исполненному страстей русскому быту, подчеркивает внутреннюю цельность, органическое самобытное развитие поэтического творчества Пушкина:

Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше свой слог, дать силу бессильному, [...] тогда [...] толпа народа на его стороне, а вместе с ним и деньги; или *быть верну одной истине* (курсив мой, К.Л.С.). [...] Первого средства не избрал поэт, потому что хотел остаться поэтом и потому что у всякого, кто только чувствует в себе искру святого призвания, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказывать свой талант таким средством. [...] и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть больше ничего, кроме нерасчет поэта, — нерасчет перед его многочисленную публику, а не перед собою. Он ничуть не теряет своего достоинства, даже, может быть, еще более приобретает его, но только в глазах немногих истинных ценителей (Гоголь 1959: 36-37).

Излишне подчеркивать, что у Белинского названный лексико-семантический “нравственный” ряд чрезвычайно развит. Достаточно будет обратиться к эпиграфам статей *Литературных мечтаний*. Идея истинности, неподделности отзывается в пяти из десяти эпиграфов. 1-ый эпиграф: “Я правду о тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи” (Грибоедов, *Горе от ума*); 2-ой эпиграф: *Pas de grâce!* (Пощады нет!) (Hugo, *Marion de Lorme*); 3-ий эпиграф: *La vérité! La vérité! Rien plus que la vérité!* (Истина! Истина! ничего кроме истины!); 4-ый эпиграф: “[...] Воскреснем ли когда от чужевластья мод, / Чтоб умный, бодрый наш народ / Хотя по языку нас не считал за немцев!” (Грибоедов, *Горе от ума*); 7-ой эпиграф: *Amicus Plato, sed magis amica veritas* (Платон мне друг, но еще больший мне друг — истина) (Белинский 1959: 35, 37, 40, 49, 66).¹⁷

сторжимые со стилем. “Слог издателя должен будет служить образцом для всех ученых словарей. Он прост, полон и краток” (VII, 446, 448).

¹⁷ Для воссоздания общего эмоционального тона *Литературных мечтаний* Белинского приведем заключительную часть последней, десятой гла-

Не будем говорить о громадной роли Белинского в развитии научно-философской и публицистической речи, о результатах его огромной умственной работы, которые привели к перестройке не только лексической и фразеологической системы литературного языка, но и его семантической структуры. Интереснее в этом контексте подчеркнуть заявление Белинского о том, что изучению философии должно предшествовать “умение ясно, понятно и толковито изъясниться на своем языке”.¹⁸

вы: “Я имел целию высказать несколько истин, частью уже сказанных, частью мною самим замеченных [...] у меня есть любовь к истине и желание общего блага, но, может быть, нет основательных познаний. [...] Думаю и верю, что для споспешествования успехам наук и словесности всякий может смело и откровенно высказать свои мнения, тем более если они, справедливые или ложные, суть следствие его убеждения, а не каких-либо корыстных видов. Итак, если найдете, что я ошибался, то выскажите печатно ваше мнение и уличите меня в ложном взгляде на вещи: я прошу этого, как доказательства *вашей любви к истине и уважения лично ко мне как к человеку* (курсив мой, К.Л.С.); но не сердитесь на меня, если думаете не так. Засим, любезный читатель, поздравляю вас с новым годом и новым счастьем ...Простите!” (Белинский 1959: 116-117). Трудно не заметить здесь преемственность в стремлении к независимости и истинности в суждениях, настойчиво отстаиваемой и проведенной в жизнь Пушкиным. Достаточно вспомнить в этом отношении письмо поэта к А. А. Бестужеву, конца мая-начала июня 1825 г.: “Об *Онегине* ты не высказал всего, что имел на сердце; чувствую почему и благодарю, но зачем же ясно не обнаружить своего мнения? – покамест мы будем руководствоваться личными нашими отношениями, критики у нас не будет – а ты достоин ее создать” (X, 147).

¹⁸ Цитата взята из Виноградова 1938: 340. Примечательно, что в 1837 г. Белинский напечатал *Основания русской грамматики для первоначального обучения. Часть первая, Грамматика аналитическая, Этимология*, Москва 1837, но собирался писать вторую часть и обдумывал план большого сочинения под названием *Полный курс словесности для начинающих*. Он должен был состоять из нескольких частей или отделений. Кроме первой части, изданной *Грамматики*, Белинский собирался писать вторую часть: низший синтаксис, или теория различных родов предложений, управления и порядка слов; третью часть: высший синтаксис, теория соединения предложения в периоды, как выражения умозаключения или силлогизма: о порядке предложений, ясности и пр.; четвертую часть: риторика, или объяснение языка украшенного (тропы, фигуры), различные роды прозаических сочинений. В особенной части Белинский собирался изложить подробно

5. И так, в 20-40-ые годы XIX века, в результате упорной работы “дружины ученых и писателей” русский язык становится способным к самостоятельному выражению — без посредства иноязычных заимствований — сложных научных, технических и философских понятий. Как пишет Виноградов, чрезвычайно симптоматичны такие признания русского интеллигента, приписываемые И. С. Тургеневым в романе *Дым* Потугину (относительно процесса самостоятельного русского “переваривания” понятий, выработанных западной европейской культурой):

Понятия привились и усвоились; чужие формы постепенно испарились, язык в собственных недрах нашел, чем их заменить — и теперь ваш покорный слуга, стилист весьма посредственный, берется перевести любую страницу из Гегеля... — не употребив ни одного неславянского слова (Виноградов 1938: 340).

Постепенно, через гласность и рост общественного мнения, развитию которых неустанно способствовал Пушкин критик и публицист; через отстаивание Гоголем самобытности молодой русской литературы, явления замечательного “даже для европейской литературы”, и гоголевское отображение и осмысление русской действительности; через утверждение публичности литературы (в смысле доступности литературных произведений вниманию общества как главнейшее условие существования литературы), которому посвятил свою жизнь Белинский: русские стали осознавать свою инаковость, научились у Европы быть по-настоящему и чувствовать себя “русскими”. К этому времени основное ядро национального русского литературного языка вполне сложилось. Созданы условия для осуществления с избытком заветной мечты Белинского: “И тогда будем мы иметь свою литературу, явимся не подражателями, а соперниками европейцев..” (Белинский 1959: 116).

6. В заключение несколько наблюдений об особенностях развития критико-публицистической литературной речи у на-

просодию, а также теорию стихосложения вообще и русского в особенности (Белинский 1953: 758).

ших писателей. В ней зафиксировано становление, лучше сказать, кодификация нормы русского литературного языка: постепенное исчезновение старославянского морфо-синтаксиса, нормализация фонетического облика европеизмов и усвоение заимствованных синтаксических конструкций.¹⁹

В фонологии, в глагольных формах несовершенного вида еще не установлено чередование гласных *о/а*. Например, у Гоголя: “Не останавливайте негодование при виде ошибок (324); многое переработываю вовсе...” (357); у Белинского: “Какой-нибудь господин [...] выработывает себе странный и дикий язык” (677); усвоить (вместо усваивать, 562) и т. д. Почти без исключения встречается предлог *об* (вместо *о*): у Пушкина: *об* русском театре (VII, 7); *об* ней, *об* нас (VII, 23); *об* сем почтенном (VII, 16); *об* литературной всячине (VII, 440). У Пушкина и у Гоголя всегда встречаются формы противуречие, противоположность, вместо сегодняшних противоречие, противоположность; у Гоголя встречается *ипотеза* вместо *гипотеза*, и т. п. В речи Пушкина отражается еще не стабилизировавшаяся орфографическая западно-европейская норма в таких грецизмах как *кафолический* (VII, 306), *вивлиофики* (VII, 307), *аристокрация* (VII, 300) чередуется с *аристократией* (VII, 275), *демократия* (VII, 400) и т. п.

В морфосинтаксисе выделяются нередкие, устаревшие формы глаголов совершенного вида: у Пушкина *отвергнул*, *проникнули*, *погаснул*, *двигнулись*, и т. п. У него встречается также устаревшая форма глагола *миноваться* (VII, 312). У Гоголя наблюдается унаследованное от книжно-славянского языка употребление *быть* с дательным падежом нечленного страдательного причастия-прилагательного вместо сегодняшнего творительного падежа сказуемого: “*быть верну одной истине*” (36); “*чтобы быть доступну* понимать их, нужно иметь слишком тонкое обоняние” и т. п. У всех трех критиков встречается причастие страдательного залога несовершенного вида в роли сказуемого. Например, у Пушкина: “Когда первые

¹⁹ Не подлежит сомнению, что развитие русской прозаической речи обусловлено так называемой языковой реформой Карамзина, столь значительной в истории русского литературного языка XVIII/начала XIX века. Об этом см. Успенский 1985 и 1993:183-210.

труды Карамзина *были с жадностью принимаемы публикою, им образуемою*” (VII, 138); “политические вопросы никогда *не бывали у нас разбираемы*” (VII, 208); у Гоголя: “чем меньше ее (жизни, К.Л.С.) простор и теснее ее круг, тем основательней и глубже он может *быть нами исследуем и проникнут*” (213); у Белинского: “Ни один поэт на Руси [...] *не был так жестоко оскорбляем*” (85); “с равной жадностью *был он читаем и перечитываем как своими почитателями, так и своими хулителями*” (564). Управление некоторых глаголов отличается от сегодняшнего: “*Не считаю за нужное*” (Пушкин: VII, 33); “*следил всякое событие*” (Гоголь, 185); “*собрание всех сочинений, относящихся до того или другого из исчисленных предметов*” (Белинский 1959: 533).

Некоторые конструкции, как нам кажется, заимствованы из французского: “*Принужденным нахожусь сказать, что...*” (“Литературная газета” 1988: 176); словопорядок относительного местоимения *кой* (у Пушкина), сменяющегося местоимением *который* (у Белинского): “на языке чужом, *коего механические формы уже давно готовы*” (VII, 18); “*те стихотворения, коих формы известны были грекам и римлянам, или коих образцы они нам оставили*” (VII, 33); “*творения отцов церкви христианской всегда образовывали собою [...] отдельную литературу, которой развитие [...] и которой история [...]*” (Белинский 1959: 547).

Очень частая, почти нормативная постпозивия прилагательного и притяжательного местоимения, как временами и синтаксические конструкции отражают становление национального кодифицированного языка, согласно практике, установленной Карамзиным. У Пушкина: *памятники исторические, сердце человеческое, новости европейские*, и т. д.; у Гоголя: “*огнем негодования лирического, признаки таланта первостепенного*”, и т. д. Вместе с тем у Пушкина иногда встречается препозиция родительного possessивного, типа: *Ломоносова оды, Дельвига письма* (X, 159).

Особенно выделяется ритм пушкинской критико-публицистической речи, не отличающийся, впрочем, от ритма пушкинской художественной прозы. Выше цитированный образец пушкинского стиля рассуждения состоит из синтагм (или “колонов”), содержащих, как правило, от 6 до 12 слогов; и

сложное синтаксическое целое (период) также не выходит за пределы 8-10 синтагм: что Виноградов и выделял как стройный принцип пушкинской прозы (Виноградов 1938: 248-249).

Лексика представляет огромный интерес, так как в ней зеркально отражаются разные пласты русского языка в динамическом их стилистическом переосмыслении. Тут и устаревшие пушкинские и гоголевские *отселе, доколе, дотоле, доселе, дабы, покамест*, и т. п., книжнославянские формы слов, как например у Гоголя: *страждет душа, возблаговеть*; у Белинского: *действователь, споспешествование, споспешествователь, соперничествовать, человечественный* (наряду с *человеческим*), *особно, особность, душа [...]* *отверзта*, и т. п.; почти исключительное употребление сказуемого *должно* в безличных предложениях на место сегодняшних *надо, нужно, необходимо*; гоголевское просторечное *наместо*, и даже диалектальные *туды, куды-то*; и переходные формы западноевропейской лексики, освоенной Белинским: *фазисы* русской литературы, *начало* в значении сегодняшнего *принципа, метода* (ж. р., также и у Пушкина), наряду с такими прочно вошедшими неологизмами, как *анатомировать, субстанция, субстанциальная идея*, и т. п. В этой связи стоит упомянуть, что специфика употребления иностранных слов, словосочетаний, цитат, главным образом из французского, заслуживает специального исследования. Это относится, в частности, к выступлениям Пушкина, в которых меткие определения, афористические изречения на латинском, французском, итальянском, иногда на английском языке обнаруживают не только удивительный европейский диапазон культуры и мышления, но и его известный и всеми признанный протезизм.

7. Для развития русского критико-публицистического стиля с одной стороны симптоматично постепенное исчезновение местоимений *сей* и *оний*: они у Пушкина постоянно употребляются вместо сегодняшних *этот* и косвенных форм местоимений *он, она, оно*; у Гоголя встречаются реже и уже в перемешку с указательным *этот* и местоимений *его, ее*; еще реже встречаются они у Белинского. С другой стороны, нет сомнения в том, что наши критики придерживались внутренних закономерностей исторического развития и функциони-

рования русского литературного языка, так блестяще изложенных Пушкиным:

Шутки г. Сенковского насчет невинных местоимений *сей, сия, сие, оный, оная, оное* – ничто иное, как шутки.²⁰ Вольно же было публике и даже некоторым писателям принять их за чистую монету. Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения *сей* и *оный*, но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: карета, скачущая по мосту, слуга, метущий комнату; мы говорим: которая скачет, который метет, и пр., заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено. Чем богаче язык выражениями и оборотами, тем лучше для искусного писателя. Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отрекаться от приобретенного им в течение веков. *Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка* (курсив мой, К.Л.С.) (VII, 438-439).

Заканчивая эту статью, мы бы хотели обратить внимание еще на одно обстоятельство. Наблюдение над публицистическим стилем 20-40-ых годов XIX века подтверждает не случайный, а древний, а потому и “истинный” характер тех черт русского разговорного языка, которые мы наблюдаем в на-

²⁰ В своей борьбе с церковно-книжной традицией русского языка, Сенковский слишком прямолинейно и механически понимал необходимость “расторжения дружбы русского языка со славянским”. Он написал целую *Резолюцию по делу “сего”, “оного” и проч.*, в которой высмеивал употребление этих местоимений. Подробнее об этом см. Виноградов 1938: 307.

стоящее время (Земская, Ширяев 1988: 145).²¹ В частности, и постпозиция прилагательного, и местоимения *сей* и *оний*, и формы родительного possessивного типа *Ломоносова оды*, и некоторые другие элементы, которые являются особенностями словорасположения, типичными для современного разговорного языка, были свойственны уже древнерусскому языку.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Арутюнова Н. Д.
1991 Истина и правда: фон и коннотации. — В кн.: Логический анализ языка: культурные концепты, Москва 1991, с. 21-30.
1992 Правда и истина: проблема квантификации. — В кн.: Linguistique et slavistique. Mélanges offerts à Paul Garde, édités par M. Guiraud-Weber et Ch. Zaremba, Institut d'Etudes Slaves, Paris 1992, pp. 20-30.
- Белинский В. Г.
1953 Полное собрание сочинений. Т. II. Москва 1953.
1959 Избранное. Эстетика и литературная критика в 2-х томах. Т. I. Статьи и рецензии (1834-1842), Москва 1959.
1977 Собрание сочинений в 9-ти томах. Т. II. Москва 1977.
- Виноградов В. В.
1938 Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX веков, Москва 1938.
- Гоголь Н. В.
1959 Собрание сочинений. в 6-ти томах Т. VI. Избранные статьи и письма. Москва 1959.
- Земская Е. А., Ширяев Е. Н.
1988 Русская разговорная речь: итоги и перспективы исследования. — Русистика сегодня, Москва 1988.

²¹ Что дало Е. А. Земской право говорить о панхронизме, вневременности разговорного языка. Ср. также "прагматический код" (термин Т. Гивона). Указание взято из Земской, Ширяева 1988: 145. Впрочем, верностью природе русского языка, исторической его народности, отличалась и языковая практика "истинно-дворянской гостинной" тех лет (которой Пушкин придерживался), как явствует из его набросков к VIII главе *Евгения Онегина* (1830 г.). Ср. Виноградов 1938: 257-258 и Успенский 1985: 54-55.

Литературная газета

1988 Литературная газета А. С. Пушкина и А. А. Дельвига, 1830 г.,
п° 1-13, Москва 1988.

Лихачев Д. С.

1993 Концептосфера русского языка. — Известия Академии
Наук, Серия литературы и языка 1 (1993): 3-9.

Лукин В. А.

1993 Слово *истина* и идея тождества. — Известия Академии Наук,
Серия литературы и языка 1 (1993): 34-48.

Maver Lo Gatto A.

1966 I primi traduttori italiani di Krylov nell'edizione parigina del 1825. —
Ricerche slavistiche XVI (1966): 157-241.

Пушкин А. С.

1937-49 Полное собрание сочинений. ТТ. I-XVI. [М.] 1937-1949.

1949-58 Полное собрание сочинений в 10-ти томах. Т. VII Критика и
публицистика. Т. X Письма. Москва-Ленинград 1949-1958.

Степанов Ю. С.

1972 Слова “правда” и “цивилизация” в русском языке. — Изве-
стия Академии Наук, Серия литературы и языка 2 (1972):
165-175

Успенский Б. А.

1985 Из истории русского литературного языка XVIII-начала XIX
века. Москва 1985.

1993 Storia della lingua letteraria russa. Dall'antica Rus' a Puškin. Edizione
italiana a cura di N. Marcialis. Bologna 1993.